

БОРИС
СЛУЦКИЙ



ГОДОВАЯ
ЖИРЕНЦОВА



ГОДОВАЯ
СТРЕЛКА
ГОДОВАЯ
СТРЕЛКА
ГОДОВАЯ
СТРЕЛКА
ГОДОВАЯ
СТРЕЛКА
ГОДОВАЯ
СТРЕЛКА
ГОДОВАЯ
СТРЕЛКА

**БОРИС
СЛУЦКИЙ**

БОРИС СЛУЦКИЙ

**ГОДОВАЯ
СТРЕЛКА**

СТИХИ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА • 1971

Р 2
С 49

Художник НИКОЛАЙ ЛАВРЕНТЬЕВ

7-4-2

149—71

ГODOВАЯ СТРЕЛКА

На первый заработок, первую деньгу
купил часы. В отличие от счастливых,
с тех пор смотрю на них и не могу
взгляд оторвать
от стрелок торопливых.

Я точно знал, куда они спешат:
не к своему, а к моему финалу.
Звонит звоночек,
мельтешит фонарик,
напоминанье
не ведает пощад.

Я часовую стрелку полюбил.
В отличие от секундной и минутной,
она не знает этой спешки нудной.
Она умело сдерживает пыл.

Разбогатею и еще куплю
часы,
 чтоб годовые стрелки были,
такие,
 чтоб медлительно поплыли,
подобно солнцу или кораблю.



Как важно дерево в окне:
не дом, не столб, а ствол древесный
и синий дальний свод небесный —
пусть хоть клочком синеет мне.

Как хороша в окне звезда.
Пусть хоть одна звезда, большая —
и прочь уходят города,
ее пространствам не мешая.

Бывает, молния сверкнет,
перечеркнет квадрат оконный,
и гром, как взрыв мильонотонный,
войну и молодость вернет.

Бывает, смерть прильнет к стеклу,
закат окно окрасит красным.
Неописуемо прекрасно
и просто так —
глядеть во мглу.



Охватывало странное веселье,
как будто бы опять на новоселье —
в теплушку, а потом — в окоп, в блиндаж.
Охватывал какой-то странный раж.

Охватывала молодость. Вторая.
Когда горю и знаю, что сгораю.
Последняя. Ведь третья — это смерть.
Хотелось снова пробовать и сметь.



Я был молод. Гипотезу бога
с хода я отвергал, с порога.

Далеко глаза мои видели.
Руки-ноги были сильны.
В мировой войне, в страшной гибели
не признал я своей вины.

Значит, молодость и здоровье —
это первое и второе.

Бог — убежище потерпевших,
не способных идти напролом,
бедных, сброшенных с поля, пешек.
Я себя ощущал королем.

Как я шествовал! Как я властвовал!
Бог же в этом ничуть не участвовал.

Идеалы теряя и волосы,
изумляюсь, что до сих пор

не услышал я божьего голоса,
не рубнул меня божий топор.

Видно, власть, что вселенной правила,
исключила меня из правила.



Человеческую жизнь (с деталями)
можно (в среднем) рассказать за два часа,
доверительно бросаясь тайнами,
убедительно меняя голоса.

За сто двадцать (с чем-нибудь) минуток
можно изложить, пересказать
стройных, ломаных, прямых и гнутых,
колыбель с могилой увязать.

Все-таки обидно: ели, пили,
жили, были — все за два часа.
Царства покоряли, окна били,
штурмовали небеса,
горы двигали и жгли леса —
все за два часа!

ВОЗРАСТ АВИАЦИИ

Излет говорят, где бы прежде сказали — закат.
Уже авиации лет пятьдесят — шестьдесят.
Уже излеталось пять-шесть поколений пилотов,
и мы наблюдали такую же цифру излетов.

Излет в авиации — пенсия и мундир,
и на небо смотришь сквозь мелкую сетку гардин,
и пишешь статейки в журнал «Авиация
и космонавтика»
с таинственной подписью «Мнение практика».

Меня занимает излет нелетающих тел.
Столетия с доктринами я рассмотреть бы хотел.
Закаты миров, а не просто закаты светил —
все это бы я осветил, охватил.

Меня занимает, как старятся, как устают,
без боя большие губернии как отдают.

Я интересуюсь падением, но не звезды,
а, скажем, философа Сквороды.

Поскольку не падал сей добрый и смиренный философ,
я интересуюсь десятком подобных вопросов.

Я к возрасту авиации скоропостижно лечу.
Озlobиться я не хочу. Сдаться я не хочу.
Хочу излетаться,— не так, как эпохи. Как пули,
которых с пути никакие ветра не свернули.

Лететь до конца по почти что прямой кривой
и врыться в песок, без претензий, что я, мол, еще
живой.



Перед извержением вулкана
твари покидают города.
Люди остаются и внимают,
что там прорычит беда.
И поэтому вся память мира
у людей в мозгу сохранена.
У животных — маленькое время.
У людей — большие времена.



Я зайду к соседу, в ночь соседа,
в маету соседскую зайду,
в горести соседские — заеду,
в недобро соседа — забреду.

По-соседски спрашивать не стану.
Знаю все и так.
Посижу. Компанию составлю.
Проиграю в дураки пятак.

Надо все же иногда соваться
и в чужие, не свои дела.
Вижу: начал интересоваться,
прояснились линии чела.

Вышедший из сутолоки, сумятицы,
из несчастья вышедший
опять
осторожно, боязливо пятится,
поворачивает вспять.

ЗЕРНО

Он был отборнейшим из зерен,
годился на посев, в сохран.
Поэтому был бит и морен,
морожен, вымочен и дран.

Каким давлением давили!
Каким томлением томили!
Всё удивляемся: да вы ли?
Он усмехается: да мы ли?

Он сохранил свою структуру,
свой смысл, свой внутренний закон.
В утиль или в макулатуру
не дал себя отправить он.

Он выжил, выстоял, остался —
его сдавали. Он не сдался.

Теперь он сыт, здоров, свободен.
Он в планы вставлен!
В дело годен!

ОСЕННЕЕ БОЛДИНО

Сначала построим Болдино,
а осень сама настанет,
и расписание свободное
нам она предоставит,
и все нам будет отдано,
что было неприкасаемо.

Но прежде построим Болдино —
дома его, небеса его.

Дожди его, трудодни его
на блюдечке разве поданы?
Язык доведет до Киева,
но только труды до Болдина.

В трудах скоротаем месяцы,
особенно если молоды,

и вот уже осень светится,
ее полевое золото.

Теперь у нас доподлинно
и осень своя и Болдино.

СИЛУЭТ

На площади Маяковского
уже стоял Маяковский —
не бронзовый,
а фанерный,
еще силуэт,
не памятник.

Все памятники — символы.
Все монументы — фантомы.
Фанерные монументы
четырежды символичны.

Поставленный для прикидки
к городу и к миру,
он подлежал замене.
Ему отмерили веку
недели, а не столетья.

Но два измеренья фанеры,
дрожащие от ветра,

были странно прекрасны
в городе трех измерений.
Два измеренья фанеры
без третьего измеренья
обладали четвертым —
неоспоримым величием.

Ночами его освещали
большими прожекторами,
и скульпторы меряли тени,
отброшенные монументом.

Массивность и бестелесность,
громадность и фантомность —
такое стоило крюку.
Я часто давал его ночью.

Быть может, впервые поэту
поставили то, что надо,
а кроме силуэта,
нам ничего не надо.
А кроме тени черной,
уложенной на асфальте,
не ставьте ничего нам,
нам ничего не ставьте.



Переливание крови
 ученые
сначала испытывали на себе.
Ученые проверяли учение
на собственной,
 личной,
 своей
 судьбе.
Если кровь пролилась не туда,
то это
 только в твои же вены.
Все естественно, обыкновенно:
твоя ошибка —
 твоя же беда.

Мне с детства по сердцу был, по нраву
мир,
 где царило двойное право:
право труда и право таланта,

где можно было считать и мерить
и только подсчитанному верить,
мир

чистого, словно совесть, халата.
Точный мир, естественный мир,
мне издавна дорог был и мил.

ЛЕГЕНДЫ И ФАКТЫ

Легкие легенды
и тяжелые,
словно танки,
факты.

Легкие легенды мотыльками
на броню действительности сели.

Легкие легенды потекают
тяжелоподъемным фактам.

Легкие легенды легким флером
обволакивают девяностоградусность,
прямизну углов
реальности.

Легкие легенды легкой пылью
замегают яркость красок жизни.

Но когда она рванется,
двинется, стронется с места,

первыми под гусеницы
попадают легкие легенды.



Из — целую жизнь буримой — скважины
пошла не нефть, пошел кипяток:
каленный, крутой, варящий заживо,
бьющий, обугливающий, как ток.

А что? Кипяток ни на что не согдится?
Он — оживляющая водица,
не хуже нефти может согреть
и все снега с земли стереть.

Я отказываюсь от нефти.
Я приноравливаюсь к кипятку.
А вы глаза на меня не гневьте.
Я больше вашего строки толку.

ВСЕ УСЛОВИЯ

Как свои почти два метра
сознают,
 копая окоп,
быстро пряча лицо от ветра,
пулеметного,
 ах, ему чтоб! —

как свои четыре с полтиной
пуда
 чувствуют на мостке,
на тончайшей, на паутинной,
через пропасть идущей доске —

свой избыток, как недостаток,
свою силу, как слабость свою,
я в эпоху ракет хвостатых
понимаю, осознаю.

Для того чтобы продержаться,
надо сжаться, надо вжаться

и на уровне нулевом
устоять на ветру пулевом.

Нивелируя взгляды, взлеты,
успокаивая сердца гуд,
пулеметы и самолеты
под нулевку бреют, стригут.

Несмотря и невзирая,
не учитывая
 рост и объем,
высовываемся,
 презирая
всю цифирь,
 над огнем встаем.

А пока головы не высунем —
ничего не откроем, не выдумаем.
Пули только, что запюют, —
все условия создают.



Не забывай незабываемого,
пускай давно былъем заваленного,
но все же, несомненно, бывшего,
с тобою евшего и пившего
и здесь же, за стеною, спавшего
и только после запропавшего:
не забывай!

1933, ФАШИЗМ

Актеры, лицедеи,
заняты, ремесло,
но с эдакой идеи
актеру повезло.

Мировоззрение это,
его хмельной азарт,
политика, поэт
равняет на театр.

И Гитлер учит дикцию
и мимику зубрит,
под мима, по традиции,
острижен и побрит.

И Геринг толстозадый
античен, как Нерон:
менадой и дриадой,
наядой

ходит он.

Идет большая мена:
меняют шелк на щелк.
Старуха Мельпомена
в обменах знает толк.

ВОСПОМИНАНИЕ О ВОЕННОЙ ИГРЕ

И это тоже было пережито:
белея, среди синей высоты,
неторопливо
раскрывались
парашюты,
как снятые в кино
(замедленно)
цветы.

Военная игра была игра.
Парашютисты все же разбивались,
и пехотинцы все же с ног сбивались,
играючи с утра и до утра.

Играючи с зари и до зари,
худели и щетиной зарастали,

но все-таки стратеги вырастали,
росли штабные, что ни говори.

Отыгрывалось, отрабатывалось
с заката и до раннего рассвета
все то, что позже минами рвалось
и карты
перекраивало
света.

Следили атташе нетерпеливо
за всем, что было связано с игрой,
и оседал, как город после взрыва,
медлительный
парашютистов
рой.

Ту давнюю военную игру,
рисковую тяжелую забаву,
на фронте вспоминали ввечеру
за водочкой положенной,
за банкой.

Шли аккуратные, как поезда,
снаряды
над землянкой в три наката,
и гильза полыхала вполнакала.

Усталые от ратного труда,
сначала потерявшие полмира,
потом отвоевавшие миры,
степенно вспоминали командиры
условия той давешней игры.

Шумела брань, и, выходя на рать,
припоминал с усмешкой полководец,
что это все уже пришлось играть,
и тут же говорил: «Не плюй в колодец».

Древнейшая история советского
периода!

Тридцатые года!

Глаза закроешь — горе не беда,
и парашюты, словно занавески,
неслышно падают на города.

Игра!

И жизнь, как утро, молода!

СОРОКОВОЙ ГОД

Сороковой год.
Пороховой склад.
У Гитлера дела идут на лад.
А наши как дела?
У пограничного столба,
где наш боец и тот — зольдат, —
судьбе глядит в глаза судьба.
С утра до вечера. Глядят!

День начинается с газет.
В них ни словечка — нет,
но все равно читаем между строк,
какая должность легкая — пророк!
И между строк любой судьбу прочтет,
а перспективы — все определяют:
сороковой год.

Пороховой склад.
Играют Вагнера со всех эстрад.
А я ему — не рад.

Из головы другое не идет:
сороковой год —
пороховой склад.

Мы скинулись, собрались по рублю,
все, с кем пишу, кого люблю,
и выпили и мелем чепуху,
но Павел вдруг торжественно встает:
— Давайте-ка напишем по стиху
на смерть друг друга. Год — как склад
пороховой. Произведем обмен баллад
на смерть друг друга. Вдруг нас всех убьет,
когда взорвет
пороховой склад
сороковой год...

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Первый день войны. Судьба народа
выступает в виде первой сводки.
Личная моя судьба — повестка
очереди ждет в военкомате.
На вокзал идет за ротой рота.
Сокращается продажа водки.
Окончательно, и зло, и веско
громяхают формулы команды.

К вечеру ближайший ход событий
ясен для пророка и старухи,
в комнате своей, в засохшем быте,
судорожно заламывающей руки:
пятеро сынов, а внуков восемь.
Ей, старухе, ясно. Нам — не очень.
Времени для осмысленья просим,
что-то неуверенно пророчим.

Ночь. В Москве учебная тревога,
и старуха призывает бога,

как зовут соседа на бандита:
яростно, немедленно, сердито.
Мы сидим в огромнейшем подвале
елисеевского магазина.
По тревоге нас сюда созвали.
С потолка свисает осетрина.

Пятеро сынов, а внуков восемь
получили в этот день повестки,
и старуха призывает бога,
убеждает бога зло и веско.

Вскоре объявляется: тревога —
ложная, готовности проверка,
и старуха, призывая бога,
возвращается в свою каморку.

Днем в военкомате побывали,
записались в добровольцы скопом.
Что-то кончилось.
У нас — на время.
У старухи — навсегда, навеки.

НАЛЕТ

Сирена запела зверино,
военно завыла с поста.
И мягкая, словно перина,
на город легла темнота.
И вот выключаются, тушатся
и гасятся лампы везде.
На территорию ужаса
гляжу при луне и звезде.
А как это так получается,
что всюду огни выключаются?
Бросаются к лампочкам руки,
как женщины под поезда.
Когда начинаются звуки,
стираются краски тогда.
И только сирена, сирена
играет в четыре руки,
как с пива — веселую пену,
сдувая с домов огоньки.
И вот начинает расстеливаться
огромный ковер бомбовой.

И вот начинает отстреливаться
сумрак, зовомый Москвой.
И город уже не боится.
Он сжался, как пальцы в кулак.
И вскорости свет возвратится
и лампы зажгутся в домах.

СБРАСЫВАЯ СИЛУ СТРАХА

Силу тяготения земли
первыми открыли пехотинцы —
поняли, нашли, изобрели,
а Ньютон позднее подкатился.

Как он мог, оторванный от практики,
кабинетный деятель, понять
первое из требований тактики:
что солдата надобно поднять.

Что солдат, который страхом мается,
ужасом, как будто животом,
в землю всей душой своей вжимается,
должен всей душой забыть о том.

Должен эту силу, силу страха,
ту, что силы все его берет,

сбросить, словно грязную рубаху.
Встать.
Вскричать «ура».
Шагнуть вперед.

НАДО, ЗНАЧИТ, НАДО

Стокилометровый переход.
Батальон плывет как пароход
через снега талого глубины.
Не успели выдать нам сапог.
В валенках же до костей промок
батальон и до гемоглобина.

Мы вторые сутки на ходу.
День второй через свою беду
хлюпаем и в талый снег ступаем.
Велено одну дыру заткнуть.
Как заткнем — позволят отдохнуть.
Мы вторые сутки наступаем.

Хлюпает однообразный хлюп.
То и дело кто-нибудь как труп
падает в снега и встать не хочет.
И немедля Выставкин над ним,
выдохшимся,
над еще одним
вымотавшимся
яростно хлопочет.

— Встань! (Молчание.) — Вставай!
(Молчок.)
— Ведь застынешь! (И — прикладом в бок.)
— Встань! (Опять прикладом.) Сучье семя! —
И потом простуженный ответ:
— Силы нет!
— Мочи нет.
— Встань!
— Отстань! —
Нет, встал. Побрел со всеми.

Я все аргументы исчерпал.
Я обезголосел, ночь не спал.
Я б не смог при помощи приклада.
Выставкин, сердитый старшина,
лучше понимает, что война —
это значит: надо, значит, надо.

ДЕСАНТ

Резервы сидели во рву
и слышали гул переправы.
Над ними неспешно росли
высокие вешние травы.
Курить было запрещено,
беседовать не разрешалось,
но многое было дано:
остались и совесть и жалость.
А мысли толпились у них,
как рядышком роты толпились,
которые в берег вцепились
на этих лугах заливных.

Так что же за те два часа
прошло сквозь сознание десанта?
Какие гремели куранты?
Нашептывали голоса?
Какие обеты даны?
Какие познания скопили?
Казалось, не същещь вины,
которой бы не искупили.

Безгрешные, как синева
небесная,
 чище рассвета,
все те, кто прожил эти два
часа,
 дотерпел до ракеты,
шагнули вперед. На весы
истории
 грузно упали.
И снова окопы копали
и утренней ждали росы.

СЛАВА САПЕРОВ

«Разминировал». Подпись. Число.
Надпись мелом в гранит переводят
и саперных частей ремесло
навсегда в историю вводят.

Мел в новейшее время сумел
не осыпаться. Закрепиться.
Не найти в целом мире тряпицы,
чтоб стереть, истребить этот мел!

И сапер, специальность свою
клявший в четырехлетнем бою,
на болота, на зной, на потемки
смотрит вдруг глазами потомка.

ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ ДИВИЗИИ

Дивизия на сто восемьдесят
градусов поворачивается.
Меняются местами
ее тылы и фронты.
Земля и та с меньшим скрипом,
наверное, оборачивается,
катаясь по бесконечности,
среди родной пустоты.

Меняются огневые
позиции — все до одной.
Копаются километры
окопов полного профиля.
Тылы поворачиваются
фронтальной стороной,
живут в пулеметных точках,
что пулеметчики бросили.

Поворот дивизии
похож на переворот
в средних размерах державе.

Водки и провизии
нужно невпроворот,
чтоб его поддержали
Плечи нужны,
чтоб тела пулеметов носить.
Речи нужны,
чтоб тяготы лучше сносить.

Сердечники маршируют,
хватаются за сердца.
Над ними скворцы озоруют,
мотаются без конца.
Все, у кого имеются,
смотрят на часы:
на поворот положены
считанные часы.

К семи ноль-ноль утра,
за шестьдесят минут до срока,
командир дивизии
докладывает в корпус
Первому:
«Алексей Сергеич!
Повернулись.
Пускай теперь лезут.
У меня всё».

СУДЬБА ДЕТСКИХ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

Если срываются с ниток шары,
то ли
от дикой июльской жары,
то ли
от качества ниток плохого,
то ли
от

вдаль устремленья лихого,—
все они в тучах не пропадут,
даже когда в облаках пропадают,
лопнуть — не лопнут,
не **вовсе** растают.

Все они
к летчикам мертвым придут.

Летчикам наших воздушных флотов,
испепеленным,
сожженным,
спаленным,
детские шарики вместо цветов.

Там, в небесах, собирается пленум,
форум,
симпозиум
разных цветов.
Разных раскрасок и разных сортов.

Там получают летнабы шары,
и бортрадисты,
и бортмеханики:
все, кто разбился,
все, кто без паники
переселился в иные миры.

Все получают по детскому шару,
с ниткой
оборванной
при нем:
все, кто не вышел тогда из пожара,
все, кто ушел,
полыхая огнем.

К ВОПРОСУ О ПЛЕННЫХ

Этого избежали
маршал и рядовой:
пленных не обижали,
даже на передовой.

Не отвечали за Гиммлера
ваши пленяги зря
и за то, что вымерли
наши у вас лагеря.

Я не сказку сказываю,
точно вам говорю:
камеры ваши
 газовые
не чета сухарю
черному,
 что уделили
пленным мы из пайка.
Нет, не переводили
с немецкого языка.

В той людской мясорубке
каждый из нас припас:
вы для нас — душегубки,
мы — вошебойки для вас.

Формулу эту простую
я с войны берегу.
За каждую запятую
в ней
ответить могу.

ВОЕННЫЙ УЮТ

На войну билеты не берут,
на войне романы не читают,
на войне болезни не считают,
но уют возможный создают.

Печка в блиндаже, сковорода,
сто законных грамм,
кусочек колбаски,
анекдоты, байки и побаски.
Горе — не беда!

— Кто нам запретит роскошно жить? —
говорит комвзвода,
вычерпавший воду
из сырого блиндажа.—
Жизнь, по сути дела, хороша!

— Кто мешает нам роскошно жить? —
Он плеснул бензину в печку-бочку,
спичку вытащил из коробочка,
хочет самокрутку раскурить.

Если доживет — после войны
кем он станет?

Что его обяжут и заставят
делать?

А куда — хоть бы хны.

А пока за целый километр
Западного фронта
держит он немедленный ответ
перед Родиной и командиром роты.

А пока за тридцать человек
спросит, если что, и мир и век
не с кого-нибудь, с комвзвода,
только что выплеснувшего воду
из сырого блиндажа.

Жизнь, по сути дела, хороша.
Двадцать два ему, из них на фронте — два,
два, похожих на два века года,
дорога и далека Москва,
в повзрослевшем только что,
едва,
сердце — полная свобода.

СОЛДАТСКИЙ ОТПУСК

В эту войну отпусков не дают,
но иногда отпуска получают.
Как нас, нечаянных, дома встречают!
Что за уют нам тогда создают!

Отпуск солдатский как сон в седле:
сладок, и краток, и беспокоен.
Так отчего ты задумался, воин?
Все для тебя на этой земле.

Отпуск солдатский — победы кусок,
выдран из следующего мая.
Чокайся, рюмку ввысь поднимая!
Жизнь хороша. Хороша!
Самый сок.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

С первой попытки брал барьер,
прыгал с места, а не с разгона,
дерзкий, сторожкий, как дипкурьер
в купе трансбалканского вагона.

В звонкую форму свою влитой,
в памяти он выступает снова:
шел, будто чувствовал под пятой
выпуклость, круглость шара земного.

Поворачивался и трещал
новыми кожаными ремнями,
взглядом миры и миры обещал,
мы на него себя равняли.

Где-то меж старой и новой границей
горсточка праха его хранится.
Там он убит и в глину зарыт
и торопливо оплакан навзрыд.

РОВНО НЕДЕЛЯ ДО ПОБЕДЫ

А что такое полная свобода?
Не тайная, а явная?
Когда
отбита беда?
Забята забота?

Я не спешу. Как царственно я медлю!
Какую джип даст по асфальту петлю
у замка на ладони, на виду!
Проеду — головой не поведу.

А изо всех бойниц наведены
эсэсовские пулеметы.
Но месяц май,
и до конца войны
неделя!
И я полной полн свободы.

Шофера не гоню, не тороплю
и ускорения не потерплю.

— Не торопитесь,— говорю шоферу.—
Не выстрелят!
Теперь им не посметь! —
Я говорю и чувствую, как смерть
отпрянула. Воротится не скоро.

Блестит солнце на альпийских видах,
и месяц май.
В Берлине Гитлер сдох.
Я делаю свободы полный вдох.
Еще не скоро делать полный выдох.

«ЕСТЬ!»

Я не раз, и не два, и не двадцать
слышал, как посылают на смерть,
слышал, как на приказ собираться
отвечают коротеньким «Есть!».

«Есть!» — в ушах односложно звучало,
долгим эхом звучало в ушах,
подводило черту и кончало:
человек делал шаг.

Но ни разу про Долг и про Веру,
про Отечество, Совесть и Честь
ни солдаты и ни офицеры
не добавили к этому «Есть!».

С неболтливым сознанием долга,
молча помня Отчизну свою,
жили славно, счастливо и долго
или вмиг погибали в бою.

В ПЕРВОЕ УТРО ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Люди бреются после войны,
заточив поострее бритвы,
после
не сраженья,
не битвы —
после многих годов войны.

Люди баньку уже истопили,
но сперва побриться должны.
Щеку языком
оттопыря,
люди бреются после войны.

За собой не числю вины.
Если все же
ошибся, сбился,
попрошу запомнить:
я брился
на войне
в день после войны.

ГУЛ НАД ГОРОДОМ

Гул над городом, над городским шумом, шорохом, рокотом.
Угловатые крылья раскинул гул над городом.

Звуки, те, что полегче воздуха, поднимаются в небеса.
Звуки, что тяжелее воздуха, оседают, как роса.

Песни долго плавают в сини —
звезды после людей их поют,
а гудки
 дождями косыми
в землю бьют.

НАДЕЖДА

На донце души
отражается солнце
своей белозубой улыбкой японца.
Это — надежда.

Лежит во мне
на самом дне
и не горит ни в каком огне.
Это — надежда.

В колодец нырну.
Всю глубину
пройду головой и к самому дну
приду за надеждой.

На счастье большой кусок отломлю
и вот уже воздух губами ловлю.
Я выплыл и снова жизнь люблю —
со мной надежда.

ВЫБОР

Выбираешь, за кем на край света,
чья верней, справедливей стезя,
не затем, что не знаешь ответа,
а затем, что иначе нельзя.

Выбираешь, не требуя выгод,
не желая удобств или льгот,
словно ищешь единственный выход,
как находишь единственный вход.

Выбираешь, а выбор задолго
сделан, так же и найден ответ —
смутной, темной потребностью долга,
ясной, как ежедневный рассвет.

С той поры, как согрела планету
совесть
и осветила мораль,
никакого выбора нету.
Выбирающий не выбирал.

Он прислушивался и — решался,
долей именовал и судьбой.
Сам собой этот выбор свершался.
Слышишь, как?
Только так.
Сам собой.



Он дышал тяжело от шубы
на ватине
 в кулак толщиной.
Не слова, а грузные шумы
заработали надо мной.

Задыхался, отдувался,
ласкам памяти предавался.

То ли юность свою, то ли зрелость
обнимал, целовал
и подробный отчет давал,
как ему писалось и пелось.

Батенька, говорил, голубок.
Был не то что широк — глубок.

Позабыл наши первые встречи,
говорил те же самые речи,
дал мне тот же самый концерт.

Как молоденький офицер,
что нет-нет взгляд на орден бросит
и шинель соответственно носит,
он распахивал передо мной
в самом деле большие удачи
и еще перед первой войной
разрешенные им задачи.

С убежденностью старовера,
что за веру пойдет на костер,
проповедовал ясность и меру,
был умен, учен, остер,
был настойчив и убедителен,
заблужденья мои отменял,
я же вежлив был и бдителен,
убежденья свои охранял.
Он взирал, воспитанно-грозный,
замолкал и после — молчок.

Вот какой был старик!
Серьезный,
замечательный был старичок.



Поэзия — обгон, но не товарищей,
а времени и, значит, напряжение,
все провода со всех столбов срывающее,
и с ног до головы — вооружение.

Маршал Толбухин одевал бойцов
в пуленепробиваемые латы.

А вы что думали?

А для баллады
не то ли требуется
в конце концов.

ЧАЕВЫЕ

Получаю всю жизнь зарплату,
заработанное, зажитое.
Чаевых же не брал ни разу.

Если заработаю больше,
за работу больше заплатят.
Ни к чему мне чаевые.

Научился и чай и сахар
на свои покупать, на кровные
и без чаевых обходиться.

А когда не умел заработать
ни на чай, ни на сахар,
я без чаю сидел и без сахару,
но не брал чаевые.



Маленький город.
Все знают всех.
Все знают все про всех.
Он в декабре погружается в снег.
В марте
погружается в свет.

Все — вы понимаете! — все,
все знают всё!
То, что было, то, что есть,
то, что будет еще.

Маленький город очень мал:
улиц шесть или пять,
но зато всеведущ, как маг
с бородою до пят.

Шорох, шепот, шелест
в нем
многозвучны, как гром.

Юный, новорожденный слух
через три часа
благоухает, словно луг,
орет на все голоса.

Маленький! Улиц в нем — три.
Переулков — шесть.
Околица — куда ни смотри,
но все-таки площадь есть,
райсовет, универмаг,
и много пишется там бумаг.

ТОВАРИЩИ ЗАОЧНИКИ, ТОВАРИЩИ ВЕЧЕРНИКИ

Шофер «Медицинской помощи
на дому»
отвез врача к больному
и срочно вынул учебник.
Задание школы вечерней
выполнить надо ему,
и вот он ловит минуты
среди поездок лечебных.

Как будто что-то выключили
и что-то включили,
он думает: «Что мы выучили
и что еще не учили?»

Покуда врач выслушивает
больного,
покуда она выписывает
три дополнительных дня,
шофер изучает науку. Читает снова и снова
и светит внутренним светом
внутреннего огня.

Товарищи заочники,
школьники пожилые,
подвижники, полуночники,
стихом вас пожалею,
стихом вам позавидую,
стихом к вам примкну.

И я совмещал учебу
с почти ежедневной работой.
Студенческую и трудовую —
две книжки, а не одну —
носил в боковом кармане,
хранил их с равной заботой.

Товарищи заочники,
вы кормите семью,
вы планы перевыполняете,
заботитесь о быте
и, кроме того, возвышаете
всю эпоху свою
и всю свою планету
гоните по орбите.

Пока по вечерним школам
не гаснет вечерний свет
и практикум по глаголам
требует ваш ответ,
покуда вы подчеркиваете,
зачеркиваете, вычеркиваете,

пока из бездонных колодцев
науку вы вычерпываете,
бессонные ваши головы
обступает рассвет
и солнышко с уважением
сияет вам свой привет.



Теплая приморская деревня.
Пеной волн забрызгана изба.
Огород с картошкой и сиренью.
С молодым винишком погреба.

Прижились уже переселенцы —
тверяки, орловцы и смоленцы,
погорельцы бедные обстроились
с тех послевоенных лет, когда
вся центральная Россия струнулась.
Стронула ее беда.

Петушок, случайно долетевший
с севера
до самых южных крыш,
больше никуда не полетишь!
Дальше — море...



То было время царствия кино.
Немалую оно взвалило ношу.
История — оно. Мораль — оно.
Эстетика, политика — оно же.

Идеи формулировал экран,
его доступность.
На полотне по вечерам
они приобретали крупность.

Все это было — и не так давно.
Какие бури двигались по залу!
Загоним же кино — в кино,
чтоб из кино кино не выползало.

БРЕМЯ ЛЮДЕЙ

Задачники без решебников
подготавливают волшебников.

Работа непосильная —
для самых лучших и честных,
а прочие — марш в посыльные,
в помощники, в порученцы!

О, бремя! Не только белых,
но также желтых и черных!
О, бремя самых смелых!
О, бремя самых упорных!

О, бремя любого народа
и всего людского рода!

Подставляем плечи,
взваливаем мешки.
А кто желает полегче —
марш в дураки, в остряки!



Какие споры в эту зиму шли
во всех углах и закутах земли!

Что говорили, выпив на троих
и поправляя походя треух,
за столиками дорогих пивных
и попросту — за стойками пивнух!

Собрания гудели, как мотор
летательного
сверхаппарата,
и мысли выходили на простор
для стычки, сшибки, а не для парада.

На старенькой оси скрипя, сопя,
земля обдумывала самое себя.



Руки опускаются по швам.
После просто руки опускаются,
и начальство во всю прыть пускается
выдавать положенное вам.

Не было особенного проку
ни со страху, ни с упрёку.
И со штрафу было меньше толку,
чем, к примеру, с осознания долга,
чем, к примеру, с личного примера
и с наглядного показа.
Смелости и подражают смело,
и таким приказам нет отказа.



Хорошо ушел. Не оглянулся.
Даже головы не повернул.
Нет, не посмотрел, не обернулся,
словно молния сверкнул.

Сто часов теорию отхода
слушает в училищах пехота.
Ну, а как отчаливать простым
людям, в пиджаках, не в гимнастерках,
так, чтоб след действительно простыл,
но, чтобы, немея от восторга,
помнили!
Он — знал. Он — понимал.
Шапки не снимал.
Не махал рукой, не улыбался.
Ни минуточки не колебался.
Просто: повернулся и ушел.

ТЕРПЕНЬЕ

Привычка привыкать,
терпеть терпенье,
терпеть, как за стеной
соседа терпим пенье,
терпеть, как терпим чад,
столовский запах тошный.

Стерпеть, смолчать,
конечно, можно.
Когда это войдет
в твои глубины
и в кровь твою войдет
вплоть до гемоглобина
и закипать душа
в ответ не станет,
привычка не спеша
натурой станет.



День был душный, а тон был пошлый.
Нехороший был разговор.
Мне-то что? Я не здешний, а пришлый,
повернулся и вышел вон.
И какая-то полная смысла,
отшлифованная во рту,
брань рванулась за мной и повисла,
и повисла на воротах.



Говорить по имени, по отчеству
вам со мной, по-видимому, не хочется.
Хорошо. Зовите «гражданин».
Это разве мало? Это много.
Гражданин!
В понимании Рылеева,
а не управдома.
Я ль буду в роковое время
позорить гражданина сан и чин?
Хорошо. Зовите «гражданин».



Новаторы — новотóры.
Они торят по новí
и ненавидят повторы,
это у них в крови,
счастливо глаза продирают,
встречая новый день,
и с мира обдирают
всю шелуху, дребедень.

УБЕЖДЕННОСТЬ

Убежденность, с которою сын из окопа
пишет матери: «Все хорошо у меня!»
Убежденность, срывающая оковы
и пылающая светлее огня.
Убежденность не в бытии, а в сознании,
в том, что будет как надо,
как следует быть,
жизнь до жизни
предчувствующая заранее,
смерть до смерти
готова,
как рюмку, испить.



К шуршанью шин на шоссе — привыкли.
К гулу гудка на углу — привыкли.
Обычен голос автомобиля,
а тайну, скрытую в нем, — забыли.
Фильм Довженко, где трактор, первый,
входит в село, — почти непонятен.
В норму пришли усталые нервы.
В душе от техники нету вмятин.
Мы нажимаем какие-то кнопки.
Мы включаем какие-то тайны.
При этом поеживаться знобко
от необычайности
мы не станем.

ПРОРОКИ И ПРОГНОЗИСТЫ

Пророк — про Рок, меж тем как прогнозист —
про испещренный формулами лист,
но с вервием на шее те и эти
живут (пока живут) на белом свете.

Пророк — на славе. Прогнозист — на ставке.
Пророки — лава. Прогнозисты — танки.
Но оба задевают за живое
и отвечают только головою.

Пророки — в устарелых власяницах.
У прогнозистов — рукава лоснятся,
но сны им одинаковые снятся,
конец, финал — один и тот же мнится.

В отчете для инстанций директивных
вдруг ямбы просыпаются хромые,
и прогнозист времен радиоактивных
подписывается так: Иеремия.



Снова заскрипела ось земная.
Заскрипела, после — затряслась.
Почему — пока еще не знаю.
Я еще наузнаваюсь всласть.

Раз земля трясется под ногами,
значит, есть причины у земли.
Семь причин как будто у нагана
в барабан причинности вошли.

Снова чашки звякают о блюдца,
снова зуб на зуб не попадет.
А причины что? Они найдутся.
Та или другая — подойдет.



Эта женщина молода. Просто она постарела.
Эта женщина хороша. Только выглядит плохо.
Этой женщине тридцать лет. То есть тридцать
до старости.

Все еще впереди. Нет почти ничего позади.
Воспоминания, изнемогающие от усталости,
не увяжутся с ней. Им, наверное, не по пути.

Ей путевку достать, нос припудрить и губы
подмазать,
за ночь выспаться, утром на правую ногу встать —
и Ромео опять на балкон ее примется лазать,
и звезда ее снова возьмется блистать.

Сбилась с шагу какой-то невидимой роты красавиц,
но она поднажмет или сообразит,
снова в ногу пойдет, земли почти не касаясь,
потрясет, изумит, поразит.

Три попытки — как в спорте — и ей полагаются.
Остается еще одна.

Здравствуй, умница!
Будь же счастливой, красавица!
Все наладится.
Пей до дна.

НЕИНТЕРЕСНО

Вдова, вернувшись с похорон,
все говорит:— Неинтересно! —
Она обдумывает трезво,
что ждет ее,— со всех сторон —
и говорит:— Неинтересно!

С какою важностью вдова
припоминает вдруг слова,
ей сложенные,
после вложенные,
заложенные в строфы тесно,
и говорит:— Неинтересно.

Со странной важностью, без зла,
она считает: жизнь дошла
до точки, до конца, дотла —
и говорит:— Неинтересно!

О, как ей было интересно!
Теперь ей все неинтересно.
Неинтересно, неинтересно!
Она жила и отжила.

ДОБРОЕ СЛОВО

От слова незлого,
от доброго слова,
развеялось горе,
словно полова,
а слово-то было в два слога всего,
в два слога коротких, и кротких, и кратких,
и вдруг доброта воспиталась на грядках,
взошла среди зла и несчастья всего.

Надежней и крепче не надо заслона.
От острого счастья я млел и шалел.
А все потому,
что кто-то два слова,
а в каждом два слога,
не пожалел.



Своим стильком плетения словес
не очарован я, не околдован.
Зато он гожд, чтобы подать совет,
который будет точным и толковым.

Как к медсестринской гимнастёрке
брошка,
метафора к моей строке нейдет.
Любитель порезвиться понарошку
особого профиту не найдет.

Но все-таки высказываю кое-что,
чем отличились наши времена.
В моем стихе,
как на больничной койке,
к примеру,
долго корчилась война.

О ней поют, конечно, тенорами,
но и басами хриплыми поют,
я — слово, а не пропуск в телеграмме,
которую грядущему дают.

ПОЛОСА НЕУДАЧ

Начинается полоса неудач.
Мелких? Как вам сказать?! Не слишком.
Привыкаешь к невеселым мыслишкам,
характерным для полосы неудач.

Все везло, а вывезло не туда.
Получалось, а не получилось.
Горе что? Не беда? Оказалось — беда.
Так уж выпало, вышло, случилось.

Полоса неудач как лесополоса
или хор, где одна за другую
неудачи пробуют голоса,
ни на миг не дают покою.

Полоса неудач, как газетная
полоса сорок первого года:
на плохие вести усердная,
а хорошим вестям — нет ходу.

Полоса неудач как дождь — обложной,
затяжной, на всю ночь и дольше.
Он то хлещет, то плещет, то льет надо мной,
затяжной, бесконечный дождик.

Набираюсь терпенья на всю полосу —
я с запасом его набираю,
положу поудобнее крест и несую,
плечи — все до крови стираю.

Даже если плечи протру до костей,
все равно до хороших дойду новостей.

Потому что в XX веке судьба
словно столб в XIX веке —
полосата. И вот я дошел до столба.
Вот удача родимая! Вот ее вехи.

ЕЛКА

Гимназической подруги
мамы
 стайка дочерей
светятся в декабрьской вьюге,
словно блики фонарей.
Словно елочные свечи
тонкие сияют плечи.

Затянувшуюся осень
только что зима смела.
Сколько лет нам? Девять? Восемь?
Елка первая светла.
Я задумчив, грустен, тих:
в нашей школе нет таких.

Как зовут их? Вика? Ника?
Как их радостно зовут!
— Мальчик, — говорят, — взгляни-ка!
— Мальчик, — говорят, — зовут! —
Я сгораю от румянца.
Что мне, плакать ли, смеяться?

— Шура — это твой? Большой.
Вспомнила, конечно. Боба.—
Я стою с пустой душой.
Душу выедаёт злоба.
Боба! Имечко! Позор!
Как терпел я до сих пор!

Миг спустя и я забыт.
Я забыт спустя мгновенье,
хоть меня еще знобит,
сводит от прикосновенья
тонких, легких детских рук,
ввысь!
 подбрасывающих вдруг.

Я лечу, лечу, лечу,
не желаю опуститься,
я подарка не хочу,
я не требую гостинца,
только длились бы всегда
эти радость и беда.



Я — словно матерьял, испытанный
на сопротивление матерьяла.
Я годен, но во мне усталость,
как в Тереке после Дарьяла.

Во мне излишне много памяти,
как после всех закалок — в стали
и всех электротоков — в меди.
Все атомы мои — устали.

Забить меня бы — на столетье,
навек оставить бы в покое,
а там согласен рассмотреть я —
а что я, собственно, такое?



Высоченный,
 словно высеченный
 из высоты,
словно Петр Великий — высокий,
шел солдат, и гудели под ним мосты,
полз солдат в холодной осоке.

Из траншей, которые он отрывал,
голова всегда выпирала.
Кашевар не снимал с его щей навар,
но солдату казалось: мало.

Не хватало конвертов ему: писать
письма
 родственникам и знакомым.
Не хватало народов ему —
 спасать
и скрижалей — высекать законы.

Мины, те, что он в полях заложил,
он своими же вырыл руками,

а дороги, те, что он проложил,
еще стонут под грузовиками.

Он Девятого мая пораньше встал,
привинтил ордена, а медали
приколел

и за пивом в очередь стал.

Вспоминает года и дали.

Вспоминает бои в родной стороне
и бои на чужой планете.

Догадавшийся,

как победить на войне,
понимает он все на свете.

БЕЗ МЕНЯ

«Ohne mich!»

«Без меня!»

Этот лозунг немецких пленных
сорок пятого года
вспоминается к юбилею все чаще.

— Почему ты сдался? —

В январе, в феврале,
в марте, в апреле
и особенно в мае,
в начале мая
генералы, полковники, капитаны
и особенно воины в чине солдата
отвечают, щелкая каблуками,
вытягиваясь в струнку,
с философской, бессмысленной улыбкой:
«Ohne mich» —
«Без меня!»
Пускай без меня воюют!

Еще поезд идет по накатанным рельсам.
Еще кофе и шнапс вестовые разносят.

Еще старшие младших свирепо разносят.
Еще писарь потери по графам разносит.
Еще разнесет этот поезд не скоро.
Еще полгода до катастрофы.
А мальчишка в штаб-офицерском чине,
седоголовый, орденосный,
израненный, многосемейный,
раскачался, спрыгнул с подножки
и умиленно, исступленно
умоляет польскую бабу,
чтоб отвела его до плена.
Лучше всего до большого штаба.
Столько лет он жил заодно со всеми!
Нынче — сам по себе желает.
И надежды слабое семя
пробивается в нем, прорастает.
Если захочет польская баба —
отведет до большого штаба.
Его торопливо в список впишут,
часы с него снимут, сапоги оставят,
а немецкий писарь — в потери впишет,
и больше никто вспоминать не станет.

«Ohne mich». Без меня. Без него отчизна,
фатерлянд немецкий, будет горе мыкать,
а ему старшина в лагерях отдаленных
будет долго тыкать, а после выкать.

Без него его дети окончат школу.
Без него жена поблекнет, засохнет,
потому что он вернется не скоро:
когда рак свистнет, когда рыба топнет.

Без него разберут на кирпич руины,
сложат дома, заживут красиво,
покуда он города Украины
восстанавливает неторопливо.

Потом, ссылаясь на вдовий траур,
сирот вставляя в речь для примера,
зловещий тощий Аденауэр
отпросит у нашего премьера
его, постаревшего лет на десять,
его, поумневшего раза в четыре.

История привыкла чудесить
с людьми
в этом самом, самом мире.

В лагере, где-нибудь на Каме,
он щелкнет в последний раз каблуками,
и ведомость сдаточную заполнит,
и целый эшелон заполнит.

И родина, дымкой сентиментальной
за давностью лет покрытая прочно,
примет его после всех метаний
и дело ему подыщет срочно.

ДЕВЯТОГО МАЯ 1965 ГОДА

Снова ордена надели,
привинтили ордена,
словно не прошло недели,
как окончилась война.
Вырыли из сундуков
старые мундиры,
не жалея пиджаков,
провертели дыры.
Оказалось, есть запас
смелости и доблести,
хоть давно ушел в запас
люди отвоевавшийся,
хоть давно ушли в отставку,
уехали в области
те, кого бросала Ставка
на врагов прорвавшихся.
Невысокие чины,
ордена большие.
А за что они даны?
За дела большие.
За хорошие дела
ордена страна дала.

ПОГРАНПОСТ

Прожектор нервно щупал
то скалы, то прибой:
огромный черный купол
небесный над тобой.
Огромный черный колокол,
а ты — его язык.
Огромный черный кокон,
а ты — его червяк.
Огромный черный колос,
а ты — его зерно.

Величье сочетанья
моря и скал —
эти очертанья
ты смолоду искал.
Скоропись рельефа,
медлительность прибоя
и море,
от звезд совсем рябое.
Крупные, свежие,
горят, как земляника,

и море
огромное,
взгляни-ка.

Звезды-землянички
в бескрайности рябят.
Хлопцы-пограничники
прожектор теребят.
Снова выдвигается
то выступ, то скала,
Старшина ругается,
что смена не пришла.

БИОГРАФИЯ

Двадцать восемь годов без отдыха
строил замки из чистого воздуха
и воздушные ямы копал:
или пан или пропал.

Вдруг врачебный осмотр.
В авиации,
как авария, что ли,
почти,
так внезапная демобилизация.
Уходи.

Еще ноги его ходили,
еще мускулы были сильны
и глаза, как у рыси, точны.
В клубе, где его посадили
возглавлять,—
вечера скучны.

Каждый день кино, а не весело.
Танцы каждый день, а тоска,

и сознание снова взвесило
все,
до тонкого волоска.

В Черноморское пароходство
замполитом на теплоход
он пошел.
Ведь имеет сходство
мореходство и полет.

Что ж, систему вестибулярную
не ошеломят новизной
ни стодневная ночь полярная,
ни экваториальный зной.

Не качнет никакая качка,
у волны не останется сил —
тех, кого качала циркачка,
авиация, воздух носил.

Из воздушного океана
в заурядный океан,
сверху вниз стремительно канув,
он пришел подтянут и прям.

Обеспечивает настроение
в чужедальной стороне
так, как некогда — построение
самолетов в своем звене.

Обеспечивает заходы
теплохода
в чужие порты,

как бывало — звена заходы
в хвост противника
с высоты.

Стенгазеты выпускает,
разъясняет про порты,
постепенно привыкает
к глубине без высоты.

Как редки самолеты в море!
Вдруг рванет парусину с небес
и исчезнет...

И от неба, пустого, голого,
снова что-то в душе заболит.
Опускает седую голову
авиатор,
теперь — замполит.

НУЖНЫ НОВЫЕ ТАЙНЫ

Космос осмотрели, одомашнили.
Как земля с покосами и пашнями,
так луна — перенаселена.
Перестала тайной быть она.

Небо, что торжественно парило,
нечто слишком важное тая,
ныне больше не мерило
ни таинственности, ни небытия.

Небеса теперь простые склады
звезд, эфира, высоты...
Новые метафоры нам надо
подыскать для смерти и для пустоты.

ПОЛЬЗА ПРИВЫЧЕК

Привычки необходимы —
домашняя мебель чувств,
домашние туфли страстей,
разношенные, незамечаемые.
По рельсам этих привычек
веселым трамваем мчусь —
вперед по привычным рельсам
в привычное незнаемое.

Привычка как электричка —
по расписанию ходит.
Привычка словно спичка —
зажжется почти всегда.
В этой привычке к привычке
спасение находят,
поскольку привычное горе
уже почти не беда.

ПОДМОСКОВЬЕ

Еще голову на плечо положив
пассажирке своей
по привычке,
трехминутным сном заснул пассажир
в электричке.

Еще справа Юго-Запад плывет,
а неназванные микрорайоны слева,
и все это Подмосковьем слывет
и еще горячо с лета.

Еще выбегут через две остановки цветы
и грибы — через пять остановок
и высоты неслыханной высоты
на своих повиснут стоногах.

А потом — голубизна, синева ль —
над зеленым в желтых пятнах.
А потом всесоюзный пойдет сеновал:
август месяц,
так что понятно.



Женщина заплакала. У нее
были, видимо, свои проблемы.
Но вагон метро молчал,
занятый проблемами своими.
Кто сочувствовал, но про себя.
Кто в душе тихонько раздражался,
потому что плач —
очень часто разновидность просьбы.

Между тем
этот плач был вроде пенья птицы,
или шума ветра,
или шелеста снежинок.

Слезы шли и перестали.
Выглянула робкая улыбка,
и всему вагону стало лучше.
У вагона отлегло от сердца.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Татьяне Дашковской

Выходит на сцену последнее из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии,
Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны,
Безродные и Беспрозыванные, Непрошенные и Случайные.

Их одинокие матери, их матери-одиночки
сполна оплатили свои счастливые ночки,
недополучили счастья, переполучили беду,
а нынче их взрослые дети уже у всех на виду.

Выходят на сцену не те, кто стрелял и гранаты бросал,
не те, кого в школах изгрызла бескормица гробовая,
а те, кто в ожесточении пустые груди сосал,
молекулы молока оттуда не добывая.

Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: живи!
В сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок
четвертом.

Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жёсток и краток отрывистый разговор.



Электричка — символ, знак
бытия. Недальняя дорога.
Потому-то и удобств немного,
мало благ.

В тесноте, в обиде:
шапку потеряешь — не найти.
Все же в самом лучшем виде
доезжаем до конца пути.

Бестолочь — не дай бог никому,
толкотня и смута.
С сожаленьем почему-то
выхожу из электрички в тьму.

АВТОМАТ

Покатился гривенник по желобу,
по тому, откуда не сойти,
предопределенному, тяжелому
пути.

Он винты какие-то задел
и упал в подставленную сетку,
вытолкнув — таков его удел —
газетку.

Прочитав ее, по своему
желобу я покатился вяло
и не удивлялся ничему
нимало.

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР

Год закончился.
Крут был и труден замес —
пятьдесят две недели и оба семестра,
но во времени есть небольшое, но место.
Здравствуй, третий семестр!

В элегантных рубашках своих с галунами
уезжают студенты на Дальний Восток.
Что же станется с нами?
И куда нам девать свой напор и восторг?

Да, куда нам последнюю юность девать,
оставшую куда же нам
молодость
тратить?

Если крикнут «Даеть!»,
то придется давать.
Если сам себе крикнешь —
почувствуешь радость.

Словно птицы каких-то прекрасных семейств,
построеньем блистая или опереньем,
улетаем в свой третий,
в последний
семестр
и парим в небесах,
наслаждаясь пареньем.

План мы дали.
Теперь наш сто первый процент.
Сто второй и сто третий, потом сто четвертый.
И пробит потолок!
Битый, катаный, тертый,
не сходящий со сцены,
уставший от сцен,
неотложные дыры поспешно латает,
неотложку текучки кому-то сдает,
уезжает.
Уплывает.
Нет, улетает!
Свой сверхплан,
сто четвертый процент свой,
дает.



Трибуны кричали: «На мыло!»
Я соображал пока,
какие слова намыло
на мол моего языка.

Откелева это, откуда
пахнуло разгромом, резней?
А прежде «дурак» и «паскуда»
считалось солидной ругней.

Смягчила ли нравы культура?
Напрасен смягчителей труд.
Где прежде орали «халтура»,
там ныне «на мыло» орут.



Нет, не телефонный — колокольный
звон

сопровождал меня
в многосуточной отлучке самовольной
из обычной злобы дня.

Был я ловким, молодым и сильным.
Шел я — только напролом.
Ангельским, а не автомобильным
сшибло, видимо, меня крылом.



Не выдал бог, свинья не съела,
и не рассталось ни на миг
с душою трепетное тело,
к которому я так привык,
которым грешен и утешен,
с которым так порой небрежен.

Оно — одно. Другого нет.
Живу на лучшей из планет,
меняю несколько монет
на целых двести грамм черешен.

СОЛИДНО!

— Солидно! — шептали губы белеющие, —
лежу на койке и в чистом белье еще.
Две свежих простыни выдали мне,
и мишки в сосновом лесу на стене.

— Солидно! — все тише шептали губы, —
в таких больницах имеются клубы,
а в них, наверное, крутят кино,
а я в нем не был так давно.

С каким удовольствием он умирал:
удовлетворенный, обеспеченный.
Руками легко с себя обирал
прикосновенья смерти беспечной.

Улыбка, исполненная торжества!
О том же свидетельствовали слова,
произносимые с затруднением:
— Солидно! Ценно! — И с этим мнением
не согласиться было стыдно.
Действительно: ценно, солидно.

Про черный день стоит беречь
не место, на кладбище приобретенное,
а эту отрывистую речь,
монотонную, веретённую.

И чтобы в самом деле кровать
со свежим бельем, что пуха легче,
и чтобы врач помог отрывать
смерть, вцепившуюся в плечи.

ДВА ГОДА В БОЛЬНИЦАХ

Прохладные стены старинных больниц
настолько похожи на крепостные,
что ты удивлен, не нашедши бойниц,
которые обороняют больные.

Высокие взрывы старинных деревьев —
тенистых, как тинистых — густо-зеленых.
Операционных неистовый рев
и треп посетителей оживленных.

Там вмещивались то огнем, то ножом
в дела мои, там помогали натуре,
там газом каким-то меня поднадули,
там был забинтован я и обнажен.

Из корпуса в корпус переходя,
из здания в здание переезжая,
я жил,

долгим взглядом ту смерть провожая,
что шла стороной, наподобье дождя.

УЧЕБНАЯ МУЗЫКА

Когда я слышу гаммы за стеной,
мирюсь с разодранною тишиной.
Я знаю: эти гаммы — признак счастья.
Тот мученик, что к фортепьяно сел,
спал с вечера, с утра поел.
Пускай долбает клавиши почуще.

Ничто с такой прекрасной полнотой
не выражает улучшения жизни,
как этот звук настырный и простой.
Звучи же!
Из любого дома брызни!

Излишество?
Колоннами его
символизируют и выражают.
Колонны пусть чернят и разрушают.

Но музыки учебной вещество,
сочащееся из-под каждой рамы,
точней, чем экскаваторы и краны,
передает строительный размах,
все время нарастающий в домах.

КОЛОКОЛА

Колокола звонили про дела:
дела — плохи, дела — плохи, дела — плохи —
унылые колокола
конца эпохи.

Понятней, чем на русском языке,
на медном языке обедни
они все громозвучней, все победней
раззванивали о беде, тоске.

Они предупредили старый мир
и точно вызвонили час и миг,
но старый мир не вслушался в сигналы,
внимания не обратил,
и вот его шугнули и согнали
с престолов
и изгнали из квартир.

Тот перезвон навек в ушах остался,
и, встретившись в Париже, на ходу,
кричат друг другу эмигранты-старцы:
колокола звонили про беду.



Ритм снегопада:
убыстрение
перед падением.

Неторопливый
обвал снежинок.

Сперва идут,
потом вбегают
в сугробы.

Шестеренка
любой снежинки
зуб за зуб зацепляет сразу
всю зиму.

Переходит
из ритма в ритм,

из снегопада
в упавший снег.

Из пения,
правда неслышного,—
в молчание.



Как волка в Заполярье! — с вертолета.
Да, с вертолета, да, из пулемета,
чтоб никого из волчьего помета!

Как волка в Заполярье истребляют!
С небес в упор по выводку стреляют.
Весь род — в распыл. Всю стаю распыляют.

Как лязгают зубами перед смертью!
Но Петр Шишов, квадраты переметя
на карте, разбирается в предмете.

Я спрашиваю Петю: жалко волка?
волчат? — и Петя размышляет долго,
но говорит об исполнении долга.

НИ К ЧЕМУ!

Все слова, что связаны с конями,—
марш на лингвистический махан!
А какие звуки там гоняли!
Целину какую плуг пахал!

Сколько было вложено людского
и в тяжелозвонкое: подкова,
и в быстропоспешное: бега!

Как была мила и дорога
и лексикографу и жокею
масть любая!
Много лет
ветерок забвенья, тихо вея,
заметает конский след.

Напоролась на колючку конница
в 914 году —
больше за пехотою не гонится,
саблями рубая на ходу.

Обогнали трактора конягу
в 930 навсегда
и обезлошадили — беда! —
Русь,
во зло, не знаю ли, во благо?
Как ушли с полей —
из словарей
медленно, но верно отступают
и в речушке Лете утопают
те, кто Волгу, Дон и Енисей
переплыли и не утонули,
отряхнулись, двинулись во тьму.
Не догнали пули,
а догнало слово: «Ни к чему!»

«Ни к чему!»
Кого обозначать
термином гнедой, буланный, пегий?
Вечность, знать, не знает привилегий.
Прав у времени нельзя качать.

«Ни к чему!»
И замирает топот
бьющих по забвению копыт.
Зверя с человеком
первый опыт
дружбы и союза —
позабыт.

ИСПАНЦЫ В ИЗГНАНИИ

По мартовскому гололеду,
топча пропесоченный лед,
сторожко, готовый к полету,
угрюмый испанец идет.

Проходит неслышною тенью
давнишних тридцатых годов
сторожко, готовый к паденью
на желтые льды городов.

Он, словно бы к солнцу подсолнух,
к Испании весь обращен.
О ней вспоминает спросонок
и с ней же свертается в сон.

Болезненно бледная смуглость
никак не сползает со щек.
Горячая, жалкая мудрость
в глазах не потухла еще.

Он ловит, как будто антенна,
незначащее ничего.
Простуда, наверно ангина,
лет тридцать как мучит его.



Слеза состоит из воды и горя:
атом горя на атом воды.
Слеза состоит из воды и беды
и потому солона, как море.

Кораблекрушение есть в слезах
и все крушения и сокрушения.
Они безвыходны, как окружение.
Им надо вытечь.

Зато, когда они пройдут,
с ними пройдут и беды и воды,
и станет душа тише завода
в праздник.

Поэтому, если плачется, плачь
и все слезинки в платочек прячь.



Вы — листва. Мы — хвоя. Ваше дело
облетать, а наше дело — зябнуть.
Вы — как лысины. Мы — как седины.
Вы — блестите. Мы — сереем.
В равной мере мы необходимы,
но кому — неясно.
Сговориться будет трудно:
лязг, почти железный, хвои
с шелестом листвы несовместим.
Сосуществовать, конечно, можно,
сговориться будет трудно.
Впрочем, можно жить без разговоров.
Можно жить, как лес: вздымая
строго параллельно
взрывы крон различных видов.



Пока ты болел и лечился,
пока ты терпел и страдал,
значительный случай случился:
он выздоровленья не ждал.

Пока ты таскал бюллетени
и круглую ставил печать,
большого события тени
твою облетели печаль.

Не веря печатям и справкам,
большое событие сбылось,
и разве отсевом и браком
тебе в нем пребыть довелось.

ДАЛЬНИЙ АВТОБУС

Вход с трагической надписью
«Выхода нет».
Касса с ценною насыпью
мелких монет.
Кресло с треснутой кожей
вместо жилья.
Окна. В них прохожие,
много людья.
Дорога, столбы, дорога,
столбы, провода.
Дороги очень много
у нас всегда.
Увалы, косогоры,
телеграфная нить.
Не скоро приедем. Скоро.
Здесь — сходить.
Значит — дальнего рейса
перелистана десть.
Дверь с командою резкой:
«Выход здесь».



Засиделся, заговорился,
загостился, пересидел,
понял вдруг, румянцем покрылся
и, на неотложность дел
вдруг сославшись торопливо,
одевался — как можно скорей.
И хозяева терпеливо
проводжали его до дверей.

А на лестнице чуткое эхо
донесло что-то вроде смеха.



Брата похоронила, мужа,
двух сыновей на погост отвезла.
В общем, к чему же, к чему же
и для чего же слова и дела.
Ясная в дереве, камне, моторе,
людям

инерция

не для чего?

Разве не преимущество горе?
Только люди имеют его.
Все же встает в семь утра ежедневно,
на уплотненный автобус спешит,
вяло и злобно, привычно и нервно
в загсе бумажки свои ворошит,
в загсе бумажки свои подшивает,
переворачивает,
семьи чужие сшивает,
жизнь понемногу донашивает.



Жалко старого, жалко больного.
Еще жальче сбитого с ног,
поднимающегося снова.
Он пытался уже. Не смог.

Он встает и кровь размазывает
по истоптанному лицу
и свою обиду рассказывает
и клянется воздать подлецу.

Помогу как брату, как другу,
чтоб в глазах рассеялась мгла.
Может, он не забудет руку,
что ему устоять помогла.

ВЕЧЕР ЗАБЫТЫХ ПОЭТОВ

Забытых поэтов забыли.
Забыли о том, как запели.
Забыли, как после забили
в какие-то темные щели
их слабую славу. Их строки.
Неловкие юные книги.

Но вот исполняются сроки.
Но вот начинаются сдвиги.
Но вот открываются срезы
какой-то не вышедшей в свет
поэзии.
Но интереса
особого, видимо, нет.

Митрейкин, полвека хранимый
в ругательстве гения,— выжил.
Несчастный, легчайше ранимый,
он словно встряхнулся и вышел
не то чтоб на авансцену

(он скромн и знал себе цену),
а просто на сцену и внятно,
негромко, но все же заметно,
спокойно, но все же сурово
сказал свое слово.

Как будто бы крутят обратно
какую-то дельную ленту!

Стоит Москвошвеем одетый,
вскормленный нещедрым Литфондом
Митрейкин далекий, забытый,
забытый, далекий Митрейкин,
и просит:
— Прочтите меня!

ПЕРЕПОХОРОНЫ ХЛЕБНИКОВА

Перепохороны Хлебникова:
стынь, ледынь и холодынь.
Кроме нас, немногих, нет никого.
Холодынь, ледынь и стынь.

С головами непокрытыми
мы склонились над разрытыми
двумя метрами земли:
мы для этого пришли.

Бывший гений, бывший леший,
бывший демон, бывший бог,
Хлебников, давно истлевший:
праха малый колобок.

Вырыли из Новгородщины,
привезли зарыть в Москву.
Перепохороны проще,
чем во сне, здесь, наяву.

Кучка малая людей
знобко жметя к праха кучке,
а январь знобит, злодей:
отмораживает ручки.

Здесь немногие читатели
всех его немногих книг,
трогательные почитатели,
разобравшиеся в них.

Прежде чем его зарыть,
будем речи говорить
и, покуда не зароем,
непокрытых не покроем
ознобившихся голов:

лысины свои, седины
не покроет ни единый
из собравшихся орлов.

Жмутся старые орлы,
лапками перебирают,
а пока звучат хвалы,
холодынь распробирает.

Сколько зверствовать зиме!
Стой, мгновенье, на мгновенье!
У меня обыкновенье
все фиксировать в уме:

Новодевичье и уши,
красно-синие от стужи,

речи и букетик роз
и мороз, мороз, мороз!

Нет, покуда я живу,
сколько жить еще ни буду,
возвращения в Москву
Хлебникова

не забуду:
праха — в землю,
звука — в речь.

Буду в памяти беречь.



До чего же женщины живучи!
На пятидесятилетнем юбилее
блоковской кончины
плачут старые, как тучи,
сединой белея,
женщины, а не мужчины.

Все его товарищи в могиле,
умерли, до одного погибли,
вслед за ним сыграли роли вскоре.
Женщины, которых обнимал он,
женщины, которых понимал он,
продолжают плакать в общем хоре.

Что же означает это?
Может быть, любовь поэта
времени прибавила им столько?
Я не знаю, что же это значит.
Вижу: бедные старухи плачут,
сверстника оплакивая горько.

ПОЭТ

Очень сбивчив.
Очень забывчив.
Некрасивую голову сбывчив,
обижается и смолкает
и, как черный сухарь, намокает
чаем дум своих невеселых.

Тих, задумчив, печален, грустен,
в дружбе — вял,
в общении — труден.
Каждый звук с каким-то хрустом
у него вылетает из глотки.

Что-то копит он и лелеет.
Искра в нем какая-то тлеет.
Накаляется он и злеет.
Скоро скажет.
Скоро скажет то самое слово,
что в пылу вдохновенья злого
собирал по буквам.

Для того на всем экономил,
чтобы выйти со словом новым.
Вот свинтил его или вырастил —
что-то им осветил и выразил.
Он теперь подбреет.



Поэзия — дырка от бублика,
жилеткины рукава.
Поэзия — республика,
где запрещено дважды два.
Поэзия — граната,
взрывающая здравый смысл,
а все-таки врать не надо,
а надобны чувства и мысль.



В поэзии есть ангелы и люди.
Есть демоны и люди.
Есть духи и великие старухи.
Есть неземные звуки и слова.

От естества ли, от сверхъестества.
от вещества земного ли? Эфира?
Твоя гитара или, может, лира,
твой полметра или же полмира,
твоя Рязань или твоя Пальмира?

Все, чем душа жива ли, не жива.

ПОЭЗИЯ

Твои следы — следы на снегу.
До весны не доберегу.

Следы на песке — твои следы.
Твои следы — до первой беды.

Куда им противостоять беде?
Твои следы — круги на воде.

Твои следы — излученье волн.
Весь космос ими от века полн.

ВЕСЕЛОЕ ОПРОВЕРЖЕНЬЕ

Еще высотных зданий шпили,
как будто клювы птиц громадных,
лазурь из рук небесных пили,
а это не прочтешь в романах.

Еще пила зеленых сосен
врезала голубые дали
и липы осыпала осень.
В рассказах это не видали.

Отстукивая стыки, поезд
стремглав летел вдоль географий,
и это не вмещалось в повесть,
но лезло в ямб и в амфибрахий.

А голуби клевали просо
звезд
с неба вечного движенья.
Поэзия жила, как прозы
веселое опроверженье.



Которые историю творят,
они потом об этом не читают
и подвигом особым не считают,
а просто иногда поговорят.

Которые историю творят,
лишь изредка заглядывают в книги
про времена, про тернии, про сдвиги,
а просто иногда поговорят.

История, как речка через сеть,
прошла сквозь них. А что застряло?
Шрамы.

Свинца немногочисленные граммы.
Рубцы инфарктов и морщинок сечь.

История калится, словно в тигле,
и важно слушает пивной притихший зал:
«Я был. Я видел. (Редко: «Я сказал».)
Мы это совершили. Мы достигли».

ЧУЖОЙ ДОМ

Я в комнате, поросшей бытием
чужим,
чужой судьбиной пропыленной,
чужим огнем навечно опаленной.
Что мне осталось?
Лишь ее объем.

Мне остаются пол и потолок,
но пол не я в смятении толк,
и потолок не на меня снижался,
не оставляя
ни надежд,
ни шансов.

Ландшафт, который ломится в окно,
не мной рассмотрен
и не мной описан.
В жилой квадрат я до сих пор не вписан,
хотя живу шесть месяцев. Давно.

Когда уеду, здесь натрут полы,
сотрут следы кратчайшего постоа
и памятью крепчайшего настоя
немедля брызнут стены и углы.

И дух его, вернувшийся домой,
немедленно задушит запах мой.

и душа твоя полуживая,
постепенно остывая
к прежде волновавшим интересам,
в охлаждении своем жестоком
не интересуется итогом
и не забавляется процессом,
а дрожит, как провода под током,
под вагонных обстоятельств прессом.

ЛИНИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Ветер пролетающих поездов.
Звоны провисающих проводов.
Поезда летят.
Провода гудят.
Все как тридцать лет назад.

Видно, линии железных дорог
потревожить не собрался рок.
Поезда летят.
Провода гудят.
Это век сохранил, уберег.

Видимо, они еще нужны
для пейзажа и для всей страны.
Поезда летят.
Провода гудят.
Словно бы задолго до войны.

Почему-то стальное полотно
с юностью сопряжено.
Провода гудят — обо мне.
Поезда летят — все ко мне,
как гудели и летели так давно!

СОДЕРЖАНИЕ

Годовая стрелка	3
«Как важно дерево в окне...»	5
«Охватывало странное веселье...»	6
«Я был молод. Гипотезу бога...»	7
«Человеческую жизнь (с деталями)...»	9
Возраст авиации	10
«Перед извержением вулкана...»	12
«Я зайду к соседу, в ночь соседа...»	13
Зерно	14
Осеннее Болдино	16
Силуэт	18
«Переливание крови...»	20
Легенды и факты	22
«Из — целую жизнь буримой — скважины...»	24
Все условия	25
«Не забывай незабываемого...»	27
1933, фашизм	28
Воспоминание о военной игре	30
Сороковой год	33
Первый день войны	35
Налет	37
Сбрасывая силу страха	39
Надо, значит, надо	41
Десант	43
Слава саперов	45
Полный поворот дивизии	46
Судьба детских воздушных шаров	48
К вопросу о пленных	50
Военный уют	52
Солдатский отпуск	54

Старший лейтенант	55
Ровно неделя до Победы	56
«Есть!»	58
В первое утро после войны	59
Гул над городом	60
Надежда	61
Выбор	62
«Он дышал тяжело от шубы...»	64
«Поэзия — обгон, но не товарищей...»	66
Чаевые	67
«Маленький город...»	68
Товарищи заочники, товарищи вечер- ники	70
«Теплая приморская деревня...»	73
«То было время царствия кино...»	74
Время людей	75
«Какие споры в эту зиму шли...»	76
«Руки опускаются по швам...»	77
«Хорошо ушел. Не оглянулся...»	78
Терпенье	79
«День был душный, а тон был пошлый...»	80
«Говорить по имени, по отчеству...»	81
«Новаторы — новотóры...»	82
Убежденность	83
«К шуршанью шин на шоссе — привык- ли...»	84
Пророки и прогнозисты	85
«Снова закрипела ось земная...»	86
«Эта женщина молода. Просто она по- старела...»	87
Неинтересно	89
Доброе слово	91
«Своим стильком плетения словес...»	92
Полоса неудач	94
Елка	96
«Я — словно матерьял, испытанный...»	98
«Высоченный...»	99
Без меня	101
Девятого мая 1965 года	104
Погранпост	105

Биография	107
Нужны новые тайны	110
Польза привычек	111
Подмосковье	112
«Женщина заплакала. У нее...»	114
Последнее поколение	115
«Электричка — символ, знак...»	117
Автомат	118
Третий семестр	119
«Трибуны кричали: «На мыло!»...»	121
«Нет, не телефонный — колокольный...»	122
«Не выдал бог, свинья не съела...»	123
Солидно!	124
Два года в больницах	126
Учебная музыка	128
Колокола	130
«Ритм снегопада...»	132
«Как волка в Заполярье! — с вертолета...»	134
Ни к чему!	135
Испанцы в изгнании	137
«Слеза состоит из воды и горя...»	139
«Вы — листва. Мы — хвоя. Ваше дело...»	140
«Пока ты болел и лечился...»	141
Дальний автобус	142
«Засиделся, заговорился...»	143
«Брата похоронила, мужа...»	144
«Жалко старого, жалко больного...»	145
Вечер забытых поэтов	146
Перепохороны Хлебникова	148
«До чего же женщины живучи!..»	151
Поэт	152
«Поэзия — дырка от бублика...»	154
«В поэзии есть ангелы и люди...»	155
Поэзия	156
Веселое опровержение	157
«Которые историю творят...»	158
Чужой дом	159
«Старость — равнодушие. Постепенно...»	161
Линии железных дорог	163

Слуцкий Борис Абрамович

ГODOВАЯ СТРЕЛКА

М., «Советский писатель», 1971, 168 стр. План выпуска 1971 г., № 149. Редактор В. С. Фогельсон. Худож. редактор В. В. Медведев. Техн. редактор А. И. Мордовина. Корректор В. Н. Стаханова. Сдано в набор 3/III 1971 г. Подписано к печати 10/V 1971 г. А 04078. Бумага 70×108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 5¹/₄ (7,35). Уч.-изд. л. 3,60. Тираж 20 000 экз. Заказ № 106. Цена 41 коп. Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109

41 коп.



Центральное место в новой книге Бориса Слуцкого занимают стихи о современности, живые картины сегодняшней действительности. Здесь же — стихи о Великой Отечественной войне, размышления об искусстве.

Ни одно из стихотворений новой книги не входило в предыдущие сборники поэта.

